Андре Моруа

Превратности любви

PREMIUM

Азбука Premium

Андре Моруа

Превратности любви

«Азбука-Аттикус»
1928

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Моруа А.

Превратности любви / А. Моруа — «Азбука-Аттикус», 1928 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-16555-7

Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др., считается подлинным мастером психологической прозы. Его книга «Превратности любви» – истинный шедевр любовного романа – во многом автобиографична. Главные герои Филипп Марсена и Изабелла де Шаверни рассказывают друг другу историю своей жизни. И каждая исповедь – это поиск родственной души, тайна которой даже для любящего оказывается непостижимой.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-16555-7

© Моруа А., 1928
© Азбука-Аттикус, 1928

Содержание

Часть первая. Одилия 6
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Андре Моруа
Превратности любви

Посвящается Симоне

Мы упорно ищем вечное где-то вдали; мы упорно обращаем внутренний взор не на то, что перед нами сейчас и что сейчас явно; или же ждем смерти, словно мы не умираем и не возрождаемся всякий миг. В каждое мгновенье нам даруется новая жизнь. Сегодня, сейчас, сию минуту – вот единственное, чем мы располагаем.
Ален[1]

André Maurois
CLIMATS
Copyright © Editions Grasset & Fasquelle, 1928

© Е. А. Гунст (наследник), перевод, примечания, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство АЗБУКА®

Часть первая. Одилия

Филипп Марсена – Изабелле де Шеверни

I

Мой внезапный отъезд, вероятно, удивил Вас. Я прошу за него прощения, но не раскаиваюсь в нем. Не знаю, слышите ли Вы, подобно мне, ту внутреннюю музыку, которая поднимается, словно ураган, и бушует в моей душе, как буйное пламя Тристана[2]. Ах, как хотелось бы мне отдаться тому волнению, что еще третьего дня, в лесу, бросило меня к Вашим ногам, к Вашему белому платью. Но я боюсь любви, Изабелла, и боюсь самого себя. Не знаю, что именно Ренэ, что другие рассказали Вам о моей жизни. Мы с Вами иногда говорили о ней; но я не сказал Вам правду. Прелесть новых встреч в том и состоит, что мы надеемся преобразить в глазах незнакомых людей наше прошлое, которое должно было быть совсем иным, – преобразить, опровергнув его. Наша с Вами дружба уже переросла пору одних только лестных признаний. Мужчины обнажают свою душу, как женщины – тело, постепенно и лишь после упорной борьбы. Я бросил в сражение один за другим все свои последние тайные резервы. Истинные мои воспоминания, укрывшиеся в крепости, осаждены и готовы сдаться и выйти на свет божий.

Теперь я вдали от Вас, я в той самой комнате, где прошло мое детство. На стене – этажерка с книгами, которые моя мать уже больше двадцати лет бережет, как она говорит, «для своего старшего внука». Будут ли у меня сыновья? Вот эта книга с широким красным корешком, закапанным чернилами, – мой старый греческий словарь, а эти, в золоченых переплетах, – мои школьные награды. Мне хотелось бы рассказать Вам, Изабелла, всю мою жизнь, начиная с той поры, когда я был ласковым мальчуганом, до того времени, когда я стал циничным юношей, потом мужчиной – оскорбленным, несчастным. Я хотел бы все рассказать Вам – простодушно, правдиво, смиренно. Но если я и доведу этот рассказ до конца, у меня, быть может, не хватит мужества показать его Вам. Что ж! Подвести итог жизни небесполезно, хотя бы и для самого себя.

Помните, однажды вечером, возвращаясь из Сен-Жермен[3], я описал Вам Гандюмас? Это край прекрасный и печальный. В дикой лощине мчится бурный поток, огибая ряд строений; это наши фабрики. Наш дом – небольшой замок XVI века, каких немало в Лимузене, – высится над песчаной равниной, поросшей вереском. Еще совсем ребенком я испытал чувство гордости, осознав, что я – Марсена и что наше семейство занимает в округе господствующее положение. Крошечный бумажный заводик, который моему деду с материнской стороны служил всего лишь лабораторией, благодаря энергии моего отца превратился в большую фабрику. Отец выкупил хутора, находившиеся в аренде, и Гандюмас, земли которого до той поры почти не обрабатывались, стал образцовым поместьем. В детстве я был свидетелем того, как у нас беспрерывно возводились все новые и новые здания и расширялся амбар для древесины, построенный вдоль потока.

---

[2] *Тристан* – герой средневекового рыцарского романа «Тристан и Изольда», страстно влюбленный юноша; сюжет сказания о Тристане и Изольде положен в основу одноименной музыкальной драмы Вагнера.

[3] *Сен-Жермен-ан-Лэ* – городок в окрестностях Парижа с замком XVI века и обширным парком.

Семья моей матери – родом из Лимузена. Мой прадед, нотариус, купил замок Гандюмас, когда его пустили в продажу как национальное имущество[4]. Отец, инженер из Лотарингии, поселился здесь только после женитьбы. Он вызвал к себе одного из своих братьев, дядю Пьера, и тот обосновался в соседнем селе – Шардейле. По воскресеньям, в хорошую погоду, наши семьи встречались у Сент-Ирьекских прудов. Мы отправлялись туда в экипаже. Я сидел на узенькой жесткой откидной скамеечке напротив родителей. Монотонный бег лошади наводил на меня сон; от скуки я наблюдал за ее тенью, которая то сжималась, то уходила вперед, обгоняя нас, то оказывалась позади на поворотах – в зависимости от того, пробегала ли она по стенам деревенских домиков или по откосам, тянувшимся вдоль дороги. Временами нас обволакивал, словно облако, запах навоза, и я замечал вокруг себя больших навозных мух; этот запах до сих пор хранится в моей памяти; как и звуки церковного колокола, он связан у меня с представлением о воскресном дне. Я терпеть не мог косогоров, – тут лошади переходили на шаг, и сколько ни щелкал старик-кучер и языком и бичом, коляска двигалась невыносимо медленно.

На постоялом дворе нас ждали дядя Пьер с женой и кузина Ренэ, их единственная дочь. Мама давала нам бутерброды, а отец говорил: «Идите играйте». Мы с Ренэ гуляли под деревьями или по берегам прудов и собирали каштаны и сосновые шишки. Отправляясь в обратный путь, мы брали Ренэ с собою; чтобы ей было где сесть, кучер опускал борта откидной скамеечки. В дороге мои родители всегда молчали.

Разговаривать они не могли из-за крайней застенчивости отца; он не выносил проявления на людях каких-либо чувств. Стоило только маме сказать за столом что-нибудь, касающееся, например, нашего воспитания, или фабрики, или дядей, или тети Кора`, которая жила в Париже, как папа пугливым жестом указывал ей на прислуживающего лакея. Мама умолкала. Я еще в детстве заметил, что если папа или дядя хотят упрекнуть в чем-нибудь один другого, то они с великими предосторожностями поручают передать это своим женам. Тогда же я узнал, что отец не терпит откровенностей. У нас считалось, что общепринятые чувства всегда искренни, что родители всегда любят своих детей, дети – родителей, мужья – жен. Марсена принимали мир за благопристойный земной рай, и это было у них, мне кажется, скорее следствием душевной чистоты, чем лицемерия.

II

Залитая солнцем лужайка в Гандюмасе. Ниже, в долине, – село Шардейль, подернутое колеблющимся раскаленным маревом. Мальчуган стоит по пояс в яме, которую он вырыл в куче песка, и, зорко всматриваясь в окружающий широкий пейзаж, выжидает появления воображаемого неприятеля. Эту игру подсказала мне моя любимая книжка: «Осада крепости» Данри. Притаившись в яме, я изображал канонира Митура; я защищал форт Луивиль, находившийся под командованием старого полковника, ради которого я с радостью пожертвовал бы жизнью.

Простите, что я останавливаюсь на этих ребяческих чувствах, но именно здесь я нахожу первое проявление той жажды беззаветной преданности, которая была одним из главенствующих факторов моего характера, хотя впоследствии она и обращалась на объекты совсем иного рода. Анализируя еле уловимую частицу моей детской души, еще сохранившуюся у меня в памяти, я обнаруживаю в этой жажде самопожертвования некоторый оттенок чувственности. Впрочем, вскоре эта игра видоизменилась. В другой книжке – мне ее подарили к Новому году, и она называлась «Русские солдатики» – я прочел о приключениях нескольких школьников,

---

[4] *…его пустили в продажу как национальное имущество.* – Во время Великой французской революции конца XVIII века дворянские поместья были конфискованы, объявлены национальным достоянием и проданы новым владельцам, представителям буржуазии.

которые решили создать армию и избрали своей королевой некую курсистку. Королеву звали Аня Соколова. «То была девушка на редкость красивая, стройная, изящная и ловкая». Мне очень нравилась клятва, которую солдаты приносили королеве, подвиги, которые они совершали ей в угоду, и улыбка, служившая им наградой. Не знаю, почему меня так пленял этот рассказ, но он меня пленял, он был мне дорог, и, несомненно, именно благодаря ему в моем воображении сложился тот идеал женщины, который я Вам не раз описывал. Я вижу себя идущим рядом с нею по гандюмасским лужайкам; она проникновенным, грустным голосом говорит мне какие-то прекрасные слова. Не знаю, в какой именно момент, но я стал называть ее Амазонкой. Зато хорошо знаю, что к радости, которую она даровала мне, всегда примешивалось представление об отваге, о риске. Я очень любил также читать с мамой рассказы о Ланселоте Озерном[5] и о Дон-Кихоте. Я не мог поверить тому, что Дульсинея дурна собою, и даже вырвал из книги картинку с ее изображением, чтобы ничто не мешало мне представлять ее себе такой, какой мне хочется.

Хотя кузина Ренэ и была на два года моложе меня, мы долго учились с нею наравне. Позже, когда мне исполнилось тринадцать лет, отец определил меня в лицей имени Гей-Люссака в Лиможе. Я жил там у нашего родственника и приезжал домой только по воскресеньям. В лицее мне очень нравилось. Я унаследовал от отца вкус к занятиям и чтению; учился я хорошо. Во мне все сильнее стали сказываться чувство собственного достоинства и застенчивость, свойственные всем Марсена; эти качества были для них так же характерны, как блестящие глаза и несколько приподнятые брови. Единственным противовесом моей гордыни служил образ Королевы, которому я был по-прежнему верен. Вечерами, перед сном, я рассказывал самому себе разные истории, и героиней их неизменно бывала моя Амазонка. Теперь у нее появилось имя – Елена, ибо я был влюблен в гомеровскую Елену, а повинен в этом приключении был наш учитель, господин Байи.

Почему некоторые картины остаются у нас в памяти такими же четкими, как в момент самого видения, в то время как другие, казалось бы более значительные, быстро тускнеют, а затем и вовсе стираются? Вот и сейчас на некоем внутреннем экране я поразительно четко вижу, как в тот день, когда нам предстояло писать французское сочинение, господин Байи, не торопясь, входит в класс; он вешает на крючок свой пастуший плащ и говорит: «Я подыскал для вас прекрасную тему: Палинодия Стесихора»[6]. Да, я как сейчас вижу господина Байи. У него густые усы, волосы бобриком, лицо со следами бурных и, по-видимому, горестных страстей. Он вынимает из портфеля бумажку и диктует: «Поэт Стесихор проклял в своих стихах Елену, из-за которой греков постигли великие бедствия; в наказание за эту дерзость Венера лишила его зрения. Тогда поэт понял свою ошибку и сочинил палинодию, в которой выражает сожаление о том, что осмелился оскорбить красоту».

С каким удовольствием я перечел бы сейчас восемь страниц, написанных мною в то утро! Мне уже никогда больше не удавалось столь полное слияние сокровенного чувства с написанной фразой, никогда – разве что в двух-трех письмах к Одилии да еще на днях – в письме, которое предназначалось Вам, но не было мною отослано. Тема жертвы, принесенной во имя красоты, рождала во мне такие глубинные отзвуки, что, несмотря на детский возраст, меня охватывал ужас, и я два часа писал с каким-то мучительным пылом, словно предчувствовал, как много оснований окажется и у меня, в моей земной трудной жизни, написать такую же палинодию.

Но я внушил бы Вам совершенно ложное представление о том, что собою представляет душа пятнадцатилетнего школьника, если бы не подчеркнул, что мое воодушевление остава-

---

[5] *Ланселот Озерный* – герой одноименного средневекового романа, один из рыцарей Круглого стола; был воспитан феей Вивианой на дне озера.

[6] *Палинодия Стесихора.* – Стесихор – греческий поэт-лирик (VI век до н. э.). Палинодия *(греч.)* – опровержение того, что было сказано раньше, отказ от прежних своих мнений и чувств.

лось сугубо внутренним и глубоко затаенным. В разговорах со сверстниками о женщинах и о любви я был циником. Некоторые из моих товарищей делились своим опытом, не брезгуя грубыми техническими подробностями. Моя Елена воплотилась для меня в лице молодой лиможской дамы, приятельницы родственников, у которых я жил. Ее звали Дениза Обри; она была хороша собою и слыла легкомысленной. Когда при мне упоминали о том, что у нее есть любовники, я вспоминал Дон-Кихота, Ланселота Озерного и мне хотелось с пикой в руке ринуться на клеветников. Когда госпожа Обри приходила к нам обедать, я терял голову от радости и страха. Все, что я говорил при ней, казалось мне нелепым. Я ненавидел ее мужа, владельца фарфорового завода, человека безобидного и благожелательного. Возвращаясь из лицея, я всегда надеялся встретить ее на улице. Я заметил, что около двенадцати она часто ходит за цветами или пирожными на улицу Порт-Турни. Я спешил занять к этому времени место у собора, между кондитерской и садоводством. Несколько раз мне удавалось проводить ее до дому, и я шел возле нее со школьным ранцем под мышкой.

С наступлением лета я стал чаще видеть ее за городом, на теннисе. Как-то вечером, в дивную погоду, кое-кто из молодых людей и дам решили тут же и поужинать. Госпожа Обри, отлично знавшая, что я в нее влюблен, предложила мне тоже остаться. Ужин прошел очень весело. Смеркалось; я лежал на траве, у ног Денизы; рукой я коснулся ее щиколотки; я осторожно обхватил ее, не встретив сопротивления. Неподалеку цвел жасмин, и я еще до сих пор слышу его пряное благоухание. Сквозь ветви мерцали звезды. То был миг полного блаженства.

Когда совсем стемнело, я заметил, что к Денизе кто-то подбирается, и догадался, что это двадцатисемилетний лиможский адвокат, уже успевший приобрести репутацию очень умного человека. Я невольно стал свидетелем их разговора. Он тихонько просил Денизу встретиться с ним в Париже, давал ей адрес; она прошептала: «Перестаньте», однако я понял, что она придет. Я по-прежнему держал ее ногу, и она предоставляла ее мне, счастливая и безразличная; но я почувствовал себя оскорбленным и внезапно воспылал диким презрением к женщинам.

Сейчас передо мной, на столе, лежит моя школьная записная книжка, в которую я заносил названия прочтенных книг. Вижу там: 26 июня, «Д.» – заглавная буква обведена кружком. Под нею я выписал фразу из Барреса: «Не надо придавать особого значения женщинам: надо восторгаться, глядя на них, и дивиться тому, что такой незначительный повод может вызывать у нас столь приятное чувство».

Все лето я ухаживал за девушками. Я узнал, что в темных аллеях можно обнимать их, целовать, наслаждаться близостью девичьего тела. Случай с Денизой Обри, казалось, излечил меня от романтики. Я разработал определенную тактику распутства; оно удавалось настолько безошибочно, что я преисполнялся гордостью и отчаянием.

III

Через год отец, уже давно состоявший членом департаментского совета, был избран сенатором от Верхней Виенны. Наш жизненный уклад изменился. Старшие классы лицея я прошел в Париже. В Гандюмасе мы теперь жили только летом. Было решено, что я подготовлюсь к получению степени лиценциата прав и, прежде чем выбрать карьеру, отбуду воинскую повинность.

Во время каникул я встретился с госпожой Обри – она приехала в Гандюмас с нашими лиможскими родственниками; насколько я понял, она сама напросилась присоединиться к ним. Я предложил показать ей наш парк и с радостью повел ее в беседку, которую называл своей обсерваторией и где в пору, когда был влюблен в нее, не раз проводил целое воскресенье, с утра до вечера предаваясь смутным мечтам. Тесное, поросшее лесом ущелье очень понравилось ей; в глубине его виднелись камни, выступающие из пенящейся воды, и легкие дымки фабрики. Когда она встала со скамьи и высунулась из беседки, чтобы разглядеть мастеров,

которые работали вдали, я положил руку ей на плечо. Она улыбнулась. Я попытался поцеловать ее; она слегка, не сердясь, отстранила меня. Я сказал, что в октябре вернусь в Париж, что у меня собственная квартирка на левом берегу, что я буду ждать ее там. «Не знаю, – молвила она, – это не так просто».

В записной книжке, среди заметок, относящихся к зиме 1906/07 года, я нахожу многочисленные упоминания о «свиданиях с Д.». Дениза Обри разочаровала меня. Но я был к ней несправедлив. Она обладала многими достоинствами, мне же почему-то хотелось, чтобы она являлась для меня не только любовницей, но и товарищем по научным занятиям. Она приезжала в Париж, чтобы повидаться со мной, померить платья, шляпки. Это вызывало у меня глубокое презрение. Я жил книгами и не допускал, что можно жить иначе. Она попросила у меня сочинения Жида, Барреса, Клоделя, о которых я ей часто говорил; то, что она сказала, прочитав их, меня покоробило. Она была хорошо сложена; как только она уезжала в Лимож, я начинал страстно желать ее. Но стоило мне провести с нею часа два, и мне хотелось умереть, сгинуть или побеседовать с приятелем-мужчиной.

Самыми близкими моими друзьями были Андре Альф, умный, несколько угрюмый еврей, с которым я познакомился на юридическом факультете, и Бертран де Жюссак, мой лиможский товарищ; он поступил в Сен-Сир и на воскресенья приезжал к нам в Париж. В обществе Альфа и Бертрана мне казалось, что я погружаюсь в какую-то более глубокую сферу искренности. На поверхности оставался Филипп, каким он был для родителей, – простое существо, состоящее из нескольких принятых в семье Марсена условностей и из редких поползновений к самостоятельности; затем следовал Филипп Денизы Обри, с приступами чувственности и нежности, на смену которым приходила грубость; потом Филипп Бертрана – смелый и чувствительный; затем Филипп Альфа – решительный и непреклонный, – и я знал, что под ними таится еще другой Филипп – самый истинный по сравнению с предыдущими, единственный, который мог бы принести мне счастье, если бы мне удалось с ним слиться, – но я не старался даже понять его.

Говорил ли я Вам о комнате, которую я снял в домике на улице Варенн и обставил очень строго, соответственно тогдашним моим вкусам? На голых стенах – маски Паскаля и Бетховена. Странные свидетели моих приключений! Диван, служивший мне ложем, был покрыт грубым серым холстом. На камине стояли бюсты Спинозы и Монтеня и лежало несколько научных книг. Сказывалось ли тут желание удивить посетителя или искреннее стремление к интеллектуальной культуре? Видимо, и то и другое. Я был старателен и неумолим.

Дениза не раз говорила, что моя комната ее пугает и вместе с тем нравится ей. До меня у нее уже было несколько любовников; она всегда властвовала над ними. Ко мне она стала привязываться. Я говорю Вам об этом без гордости. Жизнь учит всех нас, что любят и самых незначительных людей. Нередко нравится человек обездоленный, в то время как самые обольстительные терпят поражение. Дениза гораздо больше дорожила мной, чем я ею; я говорю Вам об этом потому, что так же откровенно расскажу и о других, гораздо более важных эпизодах моей жизни, когда положение бывало совсем иное. В те годы, о которых я сейчас говорю, то есть в возрасте двадцати – двадцати трех лет, меня любили; не могу сказать, чтобы любил и я. По правде говоря, я не имел ни малейшего представления о том, что такое любовь. Мысль, что из-за любви можно страдать, казалась мне несносно романтической. Бедная Дениза! Вижу ее как сейчас на этом диване; она склоняется надо мной и с тревогой заглядывает в душу, недоступную для нее.

– Любовь? – говорю я ей. – Что такое любовь?

– Вы не знаете, что это такое? Когда-нибудь узнаете. Когда-нибудь и вас скрутит.

Я мимоходом отметил слово «скрутит»; оно показалось мне вульгарным. Ее манера выражаться претила мне. Я ставил ей в упрек, что она говорит не так, как Джульетта или Клелия

Конти. Я нетерпеливым жестом оправлял ее душу, как оправляют плохо скроенное платье. Я тянул ее туда-сюда, ища недостижимого равновесия. Позже я узнал, что в Лиможе ее стали считать очень умной и что мои старания помогли ей покорить одного из самых взыскательных провинциалов. Ум женщины состоит из напластований, оставленных мужчинами, которые любили ее; точно так же во вкусах мужчины сохраняются наслоенные смутные образы женщин, встреченных им в жизни, и нередко жестокие страдания, причиненные нам одной из них, вызывают любовь к нам другой женщины и становятся причиной ее несчастий.

«М.» – это Мери Грехэм, юная англичанка с глазами, подернутыми тайной; я встретил ее у тети Кора. Надо сказать несколько слов о тете, потому что она будет играть в дальнейшей моей истории заметную, хоть и преходящую роль. Она – сестра моей матери. Замужем она была за банкиром бароном де Шуэном и почему-то всегда стремилась привлечь в свой дом как можно больше министров, послов и генералов. Начало своему салону она заложила еще в то время, когда была в близких отношениях с одним из видных политических деятелей. Свой успех она эксплуатировала с поразительной последовательностью и упорством, благодаря чему в конце концов и добилась победы. Она принимала в своем особняке на улице Марсо ежедневно с шести часов, а по вторникам давала обед на двадцать четыре персоны. Обеды тети Кора служили одним из весьма редких поводов для шуток в нашей лимузинской семье. Папа утверждал – и, кажется, не без оснований, – что последовательность этих обедов ни разу не прерывалась. Летом обеды переносились на виллу в Трувиле. Мама рассказывала, что, узнав о безнадежном состоянии дяди (у него был рак желудка), она отправилась в Париж, чтобы поддержать сестру; она приехала во вторник вечером и застала Кора за приготовлениями к очередному обеду.

– Как Адриен? – спросила мама.

– Отлично, – ответила тетя Кора. – В его положении лучшего и желать нельзя; но обедать за столом он не сможет.

На другой день, в семь часов утра, лакей сообщил маме по телефону:

– Баронесса с глубоким прискорбием уведомляет, что барон внезапно скончался сегодня ночью.

Приехав в Париж, я не испытывал ни малейшего желания посещать тетю, – отец внушил мне отвращение к светскому обществу. Но когда я познакомился с тетей, она мне, пожалуй, даже понравилась. Это была очень добрая женщина, любившая оказывать услуги; общаясь с людьми, занимающими высокое положение в самых различных сферах, она приобрела несколько смутное, но все же подлинное знание движущих пружин общества. Для меня, молодого любознательного провинциала, она служила неисчерпаемым источником всевозможных сведений. Она заметила, что я с удовольствием слушаю ее, и подружилась со мной. Каждый вторник меня приглашали к обеду. Быть может, ей доставляло удовольствие приглашать меня еще и потому, что она знала о неприязненном отношении моих родителей к ее салону и ей лестно было торжествовать над ними, переманив меня на свою сторону.

Среди гостей тети Кора бывали, конечно, и молодые женщины как необходимое украшение салона. Я отважился завоевать некоторых из них. Я ухаживал, не любя; я просто считал это делом чести и хотел убедиться в возможности победы. Помню, с каким невозмутимым спокойствием я усаживался в кресло, как только моя жертва уходила от меня с нежной улыбкой на губах; я брал в руки книгу и без труда гнал ее образ прочь.

Не судите меня строго. Мне кажется, что очень многие молодые люди – если только им не посчастливится сразу же встретить из ряда вон выходящую любовницу или жену – неизбежно приходят к этому надменному эгоизму. Они гонятся за какой-то законченной системой. А женщины инстинктивно знают, что все такие попытки напрасны, и в этих поисках они следуют за мужчинами лишь из снисходительности. Некоторое время влечение создает какую-то иллюзию, потом в почти что враждебных душах начинает расти непреодолимая скука. Мечтал

ли я по-прежнему о Елене Спартанской? Ее образ представлялся мне теперь погруженным в темные воды моей рассудочной стратегии, словно затопленный собор.

Случалось, что в концертах, где я бывал по воскресеньям, я замечал вдали чей-нибудь прелестный профиль, который вызывал во мне странное волнение и напоминал белокурую славянскую королеву детской поры и каштановые рощи Гандюмаса. И в течение всего концерта я нес этому незнакомому профилю неистовые чувства, разбуженные музыкой, и мне несколько мгновений казалось, что, если бы я мог познакомиться с этой женщиной, я в ней наконец обрел бы то совершенное, почти божественное создание, которому я хотел бы посвятить жизнь. Потом свергнутая королева терялась в толпе, я же отправлялся на улицу Варенн к любовнице, которую вовсе не любил.

Теперь мне самому непонятно, как мог я совмещать в себе два столь противоположных персонажа. Они жили в двух различных сферах и никогда не встречались друг с другом. Нежный, жаждущий самопожертвования влюбленный пришел к убеждению, что любимой женщины в реальной жизни нет. Отказываясь отождествлять обожаемый призрачный образ с грубыми куклами из окружающей среды, он искал убежище в книгах и боготворил только госпожу де Морсоф или госпожу де Реналь[7]. А циник тем временем присутствовал на обеде у тети Кора и обращался к соседке, если она ему нравилась, с веселыми и вольными речами.

После того как я отбыл воинскую повинность, отец предложил мне помогать ему в управлении фабрикой. Контору он теперь перевел в Париж, поближе к клиентам, большим газетам и крупным издательствам. Дело очень интересовало меня, я старался развивать его, но в то же время не переставал посещать лекции и много читать. Зимой я бывал в Гандюмасе раз в месяц, а летом, когда родители переезжали туда, я проводил там несколько недель. Я с удовольствием вновь посещал уединенные уголки природы, знакомые мне с детства. Если дела не требовали моего присутствия на фабрике, я занимался – либо у себя, все в той же комнате, либо в своей маленькой обсерватории над речкой. Время от времени я вставал из-за стола, доходил до конца длинной каштановой аллеи, скорым шагом возвращался обратно и снова принимался за книгу.

Я был рад, что избавлен от молодых женщин, которые в Париже опутали мою жизнь легкой, но непреодолимой сетью свиданий, жалоб и болтовни. Мери Грехэм, – я Вам уже говорил о ней, – была замужем за человеком, с которым я был хорошо знаком, и мне претило пожимать ему руку. Большинство моих приятелей делало бы это, наоборот, с самодовольной иронией. Но правила нашей семьи в таких вопросах были очень строги. Отец женился по расчету, однако брак этот, как часто случается, преобразился в брак по любви. Отец был счастлив на свой лад – молчаливо и сурово. У него никогда не бывало любовных приключений – во всяком случае, со времени женитьбы: однако, казалось мне, он не чужд был романтики, и я смутно предчувствовал, что если бы мне посчастливилось встретить женщину, хоть немного похожую на мою Амазонку, я стал бы таким же счастливым и верным супругом, как и он.

IV

Зимой 1909 года я дважды болел бронхитом, и в марте врач посоветовал отправить меня на некоторое время на юг. Я решил съездить в Италию, которой совсем не знал. Я побывал на северных озерах, пожил в Венеции, а последнюю неделю решил провести во Флоренции. В первый же день в гостинице, за соседним столом, я заметил девушку ангельской, эфирной красоты и не в силах был отвести от нее взор. С нею находилась молодая еще мать и довольно пожилой мужчина. После обеда я спросил у метрдотеля, кто такие мои соседки. Он ответил,

[7] *…госпожу де Морсоф или госпожу де Реналь.* – Госпожа де Морсоф – героиня романа Бальзака «Лилия долины», госпожа де Реналь – героиня романа Стендаля «Красное и черное»; авторы изобразили их как глубоко и искренне любящих женщин.

что они – француженки, фамилия их – Мале. Их спутник, итальянский генерал, не живет в нашей гостинице. На другой день, во время завтрака, их столик пустовал.

Я привез с собою рекомендательные письма к нескольким флорентинцам, в том числе к профессору Анджело Гуарди, искусствоведу, издатель которого был моим клиентом. Я отправил ему письмо во Фьезоле и в тот же день получил приглашение на чай. У него на вилле, в саду, я застал человек двадцать гостей, среди которых оказались и две мои соседки. На девушке было платье из сурового полотна с синим матросским воротником и широкополая соломенная шляпа, – и она показалась мне столь же прекрасной, как и накануне. Я вдруг оробел и поспешил отойти от группы, где она находилась, с тем чтобы побеседовать с Гуарди. У наших ног протянулись шпалеры роз.

– Этот сад – мое детище, – сказал Гуарди. – Десять лет тому назад весь участок представлял собою просто лужайку. Вон там…

Он повел рукою; следуя за его жестом, я встретил взгляд мадемуазель Мале и с удивлением и радостью заметил, что он обращен на меня. Это длилось какое-то неуловимое мгновенье, но взгляд ее явился как бы цветочной пыльцой, несущей в себе неведомые силы, из которой родилась моя самая великая любовь. Этот взгляд дал мне понять без слов, что она позволяет мне держаться непринужденно, и при первой же возможности я подошел к ней.

– Какой дивный сад! – сказал я.

– Дивный! – воскликнула она. – Кроме того, здесь, во Флоренции, мне особенно нравится, что отовсюду видишь гору, деревья. Я не выношу городов, где только город и больше ничего.

– Гуарди говорит, что за домом тоже прекрасный вид.

– Что ж, посмотрим, – весело подхватила она.

Мы оказались перед густой завесой кипарисов; посредине она была прорезана каменными ступенями, которые вели к гроту со статуей. Дальше, слева, была площадка, откуда открывался вид на город.

Мадемуазель Мале оперлась возле меня на балюстраду и долгое время молча смотрела на розовые купола, на широкие, почти плоские флорентийские крыши и раскинувшиеся вдали синеватые горы.

– Какая красота, – прошептала она наконец в восторге.

Изящным, почти детским движением она откинула голову, словно для того, чтобы вдохнуть в себя этот дивный ландшафт.

С первого же нашего разговора Одилия Мале стала относиться ко мне с непринужденной доверчивостью. Она рассказала, что ее отец – архитектор, что она очень гордится им, что он остался в Париже. Ей досадно видеть около матери этого генерала в роли услужливого поклонника. Не прошло и десяти минут, как мы пустились в откровенности. Я рассказал ей о моей Амазонке, о том, что не почувствую вкуса к жизни, пока мне не будет служить опорой могучее, глубокое чувство. (В ее присутствии мои циничные теории мигом разлетелись в прах.) Она мне поведала, что однажды, когда ей было тринадцать лет, ее любимая подруга, Миза, задала ей вопрос: «Если бы я тебя попросила, бросилась бы ты вниз с балкона?» – и в ответ она чуть было не ринулась с четвертого этажа. Эта история привела меня в восторг.

Я спросил:

– Вы много бываете в церквах, в музеях?

– Много, – ответила она, – а больше всего я люблю бродить по старинным улицам… Но мне неприятно гулять с мамой и ее генералом, поэтому я встаю очень рано… Хотите пойти со мной завтра утром? В девять часов я буду в вестибюле гостиницы.

– Конечно хочу… Надо попросить у вашей матушки позволения сопровождать вас?

– Нет, – ответила она, – я скажу сама.

На другой день я ждал ее у лестницы, и мы вместе отправились гулять. Широкие плиты набережных блестели под лучами солнца; откуда-то доносился колокольный звон; изредка нас обгоняли экипажи. Жизнь вдруг становилась совсем простой; было бы счастьем всегда видеть возле себя эту белокурую головку, переходя улицу, касаться этой руки и на мгновенье ощущать под тканью тепло юного тела. Она повела меня на улицу Торнабуони; ей нравились магазины, где торгуют обувью, цветами, книгами. На мосту Понте-Веккьо она надолго задержалась возле витрин с ожерельями из крупных розовых и черных камней.

– Как занятно! – воскликнула она. – Правда?

Порою у нее обнаруживались вкусы вроде тех, что я осуждал у бедняжки Денизы Обри.

О чем мы говорили? Теперь уже не могу вспомнить. В записной книжке есть пометка: «Прогулка с О., Сан-Лоренцо[8]». Она рассказывает мне о большом ярком блике, который сиял над ее кроватью в монастыре, – то был свет наружного фонаря, отраженного ставнем. Когда она засыпала, ей чудилось, будто он разгорается все ярче и ярче, и она воображала себя в раю. Она вспоминает «Розовую библиотеку»[9]; она ненавидела Камиллу и Мадлену[10]; в жизни она терпеть не может паинек. Любимое ее чтение – волшебные сказки и стихи. Иногда ей снится, что она гуляет по морскому дну, а вокруг плавают рыбьи скелеты; бывает и так, что хорек уносит ее в свою норку. Она любит опасность; она ездит верхом, берет барьеры… Силясь понять что-нибудь, она мило поводит глазами; она слегка морщит лоб и смотрит вдаль как бы не видя; потом говорит самой себе: «Ах, так!» – она поняла!

Приводя этот штрих, я отлично понимаю, что мне не передать счастливых воспоминаний, которые он будит во мне. Почему она казалась мне таким совершенством? Было ли в том, что она говорила, нечто из ряда вон выходящее? Не думаю; но она обладала качеством, которого недостает всем Марсена: вкусом к жизни. Мы любим тех, кто таит в себе некую таинственную субстанцию, какой недостает нам самим и без которой мы не можем стать стойким химическим соединением. Женщин прекраснее Одилии я не встречал, но встречал более блестящих, интеллектуально более совершенных, и все же ни одной из них не удавалось так глубоко ввести меня в чувственный мир. Книги и одинокие размышления чересчур отдалили меня от деревьев, цветов, запахов земли, красоты неба и свежих дуновений; теперь каждое утро Одилия собирала все это великолепие и целыми охапками слагала к моим ногам.

Когда я бывал один в каком-нибудь городе, я проводил дни в музеях или в своей комнате, за чтением книг о Венеции, о Риме. Можно сказать, что внешний мир доходил до меня лишь через шедевры искусства. Одилия сразу же увлекла меня в мир красок, звуков. Она повела меня на цветочный рынок, под высокие арки Меркато Нуово, и здесь смешалась с толпой женщин, покупавших букетик ландышей или несколько веток сирени. Ей понравился деревенский старик-священник, который собирался купить ракитник, намотанный на длинную жердь. Она водила меня по холмам над Сан-Миниато, где узкие дороги вьются между раскаленными стенами, с которых свисают пышные кисти глициний.

Досаждал ли я ей, когда серьезно, как то свойственно Марсена, толковал о распре гвельфов с гиббелинами, о жизни Данте или об экономическом положении Италии? Не думаю. Кто-то заметил, что наивная, почти глупенькая фраза, сказанная женщиной, иной раз внушает мужчине непреодолимое желание поцеловать эти детские уста, в то время как мужчина нередко нравится женщине именно тогда, когда он наиболее сух и беспощадно логичен. Быть может, это было справедливо в отношении Одилии и меня. Во всяком случае, я знаю, что, когда она,

---

[8] *Сан-Лоренцо* – храм во Флоренции, построенный в XVI веке и украшенный работами Микеланджело, Брунеллески, Вероккио, Донателло и др.

[9] *«Розовая библиотека»* – популярная в свое время серия детских книг, издававшаяся во Франции в конце XIX – начале XX века.

[10] *Камилла и Мадлена* – героини детской повести графини де Сегюр (урожденной Растопчиной) «Примерные девочки» (1858).

дойдя до лавочки с бижутерией, умоляюще шептала: «Остановимся на минутку», я не критиковал ее, не сожалел о потерянном времени, а только думал: «До чего я люблю ее!» И я слышал, как во мне с возрастающей силой звучит тема Рыцаря-покровителя, тема беззаветной самоотверженности, которая с детских лет сочеталась у меня с представлением об истинной любви.

В те дни эта тема захватывала все мое существо. Подобно тому как в оркестре одинокая флейта, выводя коротенькую фразу, постепенно будит скрипки, потом виолончели, потом медь – пока наконец огромная ритмическая волна не хлынет на слушателей – так сорванный цветок, запах глициний, черные и белые церкви, Боттичелли и Микеланджело постепенно вливались в громоподобный хор, певший о радости любить Одилию и защищать от незримого врага ее небесную, хрупкую красоту.

В первый день моего пребывания во Флоренции я мечтал о краткой прогулке с незнакомкой как о несбыточном счастье. Несколько дней спустя необходимость возвращаться в гостиницу к обеду и ужину уже представлялась мне несносным ярмом. Госпожа Мале, хорошо не зная, кто я такой, была встревожена и старалась сдерживать стремительное развитие нашей дружбы; но вы знаете, что такое первые порывы любви у юных существ; их силу ничем не преодолеть. Мы чувствовали, что где бы мы ни появлялись, – нас сразу же окружала симпатия. Одной красоты Одилии для этого было бы достаточно. Но она мне сказала, что вдвоем мы имеем у итальянцев еще больший успех, чем когда она появляется одна. Флорентийские vetturini[11] были нам признательны за то, что мы любим друг друга. В музеях служители встречали нас улыбкой. Лодочники Арно добродушно поднимали головы, чтобы взглянуть на нас, когда мы стояли на набережной, облокотясь на парапет и прижавшись друг к другу, чтобы ощущать тепло наших тел.

Я телеграфировал отцу, что для окончательной поправки мне надо бы пожить на юге еще недели две. Он согласился. Теперь мне хотелось, чтобы Одилия была со мною весь день. Я нанимал экипаж, и мы отправлялись в долгие прогулки по Тосканской провинции. По дороге в Сиену нам показалось, будто мы очутились среди полотен Карпаччо[12]. Экипаж взбирался на холмики, похожие на детские песочные пироги, а на их вершинах оказывались какие-то сказочные деревушки с зубчатыми колоколенками. Густые тени Сиены приводили нас в восхищение. Когда мы завтракали в темной прохладной харчевне, я уже твердо знал, что всю жизнь проведу возле нее. На обратном пути, в сумерках, она положила свою руку на мою. В записной книжке у меня сохранилась пометка, сделанная в тот вечер: «Шоферы, горничные, крестьяне относятся к нам с явной симпатией. Они, конечно, понимают, что мы влюблены друг в друга. Служащие нашей маленькой гостиницы всячески стараются нам угодить. Особенно упоительно сознание, что мне безразлично все, что не относится к ней, а ей безразлично все, что не относится ко мне. У нее бывает чудесное выражение лица, – оно говорит о восторге и самозабвении. В нем есть и доля грусти, словно ей хочется остановить этот миг и удержать его в своем взоре».

Да, я по-прежнему люблю Одилию тех флорентийских дней! Она была так прекрасна, что я иной раз сомневался в ее реальности. Я отворачивался, говоря: «Сейчас я попробую пять минут не смотреть на вас». Но мне никак не удавалось выдержать и тридцати секунд. От всего, что она говорила, веяло необыкновенной поэзией. Хотя она была очень весела, в ее словах порою звучала серьезная нотка, подобная звуку виолончели, – меланхолический диссонанс, звеневший смутным трагическим предостережением. В таких случаях она твердила что-то вроде: «Ты отмечена роком…» Сейчас припомню… Да! «Марс мстит тебе, ты отмечена роком; златокудрая девушка, берегись!» Где, в какой нелепой книге, в какой мелодраме она прочла или слышала эти слова? Не знаю. Как-то вечером, в теплых сумерках таинственной

[11] Извозчики *(ит.)*.

[12] *Карпаччо* Витторе (ок. 1450 – ок. 1525) – живописец венецианской школы.

оливковой рощи она впервые протянула мне губы и тут же, с нежной грустью взглянув на меня, сказала: «Помните, дорогой, слова Джульетты?.. „Я была чересчур ласкова, и, женившись на мне, вы, пожалуй, будете опасаться, что я окажусь легкомысленной…“»

Я с радостью вспоминаю нашу любовь тех дней; то было прекрасное чувство, столь же сильное у Одилии, как и у меня. Но у Одилии чувства почти всегда сдерживались гордостью. Позже она мне объяснила, что, живя в монастыре, потом у матери, которую не любила, она привыкла замыкаться в самой себе. Когда скрытый огонь чувства прорывался наружу, он полыхал у нее неистовым, но недолгим пламенем, и он согревал мне сердце тем сильнее, что я сознавал всю его непосредственность. Подобно тому, как некогда мода, скрывая от мужских взоров тело женщины, придавала значительность легкому прикосновению к ее платью, так целомудрие чувств, скрывая обычные проявления страстей, усиливает ценность и изящество еле уловимых оттенков слов. Отец прислал мне в конце концов довольно сухую телеграмму; он вызывал меня обратно в Париж. Мне пришлось сказать об этом у Гуарди, в присутствии Одилии, которая приехала туда раньше меня. Гости, безразличные к моему отъезду, сразу же возобновили оживленный разговор о Германии и Марокко. Выходя, я сказал Одилии:

– Какие интересные вещи рассказывал Гуарди.

Она ответила почти с отчаянием:

– Я слышала только одно – что вы уезжаете.

V

Перед отъездом из Флоренции мы обручились. Предстояло сообщить мои планы родителям, и я думал об этом не без тревоги. В семье Марсена брак всегда считался делом клана. Родня непременно вмешается и станет наводить справки о Мале. Что она узнает? Сам я ничего не знал о семье Одилии и даже никогда не видел ее отца. Как я Вам уже говорил, у Марсена существовала странная традиция: важные новости у нас никогда не сообщали прямо тем, кого они касаются, а передавали через посредников и со всякого рода предосторожностями. Я попросил тетю Кора, ближайшую свою наперсницу, сказать отцу о моей помолвке. Тетя всегда радовалась, когда представлялся случай доказать безупречность ее справочной конторы; контора и в самом деле была превосходна, хотя и страдала своеобразным недостатком: агенты ее занимали в общественной иерархии чересчур высокое положение, вследствие чего тетя Кора, желая, например, получить сведения о каком-нибудь сержанте, могла запросить о нем не иначе как военного министра, а если бы дело коснулось какого-либо безвестного лиможского доктора, ей пришлось бы обратиться к главному врачу парижских больниц. Когда я назвал тете фамилию Мале, она ответила, как я и ожидал:

– Я с ним не знакома, но, если он занимает более или менее видное положение, я все немедленно разузнаю у старика Берто, ты его знаешь – он академик архитектуры… Я два раза в год приглашаю его по вторникам, потому что он когда-то охотился с моим дорогим Адриеном.

Несколько дней спустя я приехал к ней и застал ее взволнованной и мрачной.

– Ах, друг мой, тебе повезло, что ты ко мне обратился, – сказала она, – эта партия не для тебя… Я повидалась со стариком Берто; он хорошо знает Мале; они одновременно получили «Римскую премию»[13]; он говорит, что это человек приятный и не лишенный таланта, но карьера ему не удалась, потому что он никогда ничего не доводил до конца. Он принадлежит к тому типу архитектора, который может составить проект, но сам не следит за постройкой и теряет всех заказчиков… Мне самой довелось иметь дело с таким архитектором, когда я стро-

[13] *«Римская премия»* – награда, учрежденная во Франции для оканчивающих художественные учебные заведения с отличием. Лауреатам «Римской премии» предоставляется годичная командировка в Рим для совершенствования в своем искусстве.

ила дом в Трувиле… А женат твой Мале на женщине, которую я в свое время знавала; тогда она была мадам Бемер – я сразу все вспомнила, как только Берто назвал мне эту фамилию… Ортанс Бемер – как не помнить! Мале ее третий муж… Что же касается дочери, то Берто говорит, как и ты, что она очаровательна и нет ничего удивительного в том, что она тебе понравилась. Однако верь моей опытности, дорогой Филипп: жениться тебе на ней не следует, и ты даже не говори об этом ни отцу, ни маме… Я – иное дело, я перевидала в жизни такое множество людей! Но бедная твоя мама… Не могу себе представить ее рядом с Ортанс Бемер, – нет, нет, нет, не могу!

Я возразил, что Одилия совсем не такая, как ее родители, что к тому же решение мое принято бесповоротно и что самое лучшее – чтобы моя семья одобрила его. После некоторого сопротивления тетя Кора согласилась поговорить с родителями, отчасти по доброте своей, отчасти потому, что она несколько напоминала тех старых дипломатов, которые страстно любят вести переговоры и, видя, что наступает пора международных осложнений, испытывают одновременно и страх, потому что дорожат миром, и затаенную радость, потому что предвкушают возможность проявить свой единственный природный дар.

Отец отнесся к сообщению спокойно и снисходительно. Он только попросил меня хорошенько обдумать этот шаг. Мама же сначала обрадовалась, что я женюсь, но несколько дней спустя она повидалась со старинной подругой, которая знала семью Мале; та сказала маме, что это люди, отличающиеся крайне свободными нравами. У мадам Мале дурная репутация; говорят, что у нее до сих пор есть любовники. Об Одилии не говорилось ничего определенного, но известно было, что она дурно воспитана, выезжает одна с молодыми людьми и что к тому же она уж чересчур хороша собою.

– А есть у них состояние? – осведомился дядя Пьер, который, разумеется, присутствовал при этом разговоре.

– Не знаю, – ответила мама. – Говорят, что господин Мале человек умный, но со странностями… Это люди не нашего круга.

«Люди не нашего круга» – фраза, отлично выражающая психологию Марсена, и в ней заключалось страшное осуждение. Некоторое время я думал, что мне будет крайне трудно уговорить родителей. Одилия с матерью возвратились в Париж через две недели после меня. Я отправился к ним с визитом. Они жили на улице Лафайет, на четвертом этаже. Одилия отворила дверь, скрытую в панно, и повела меня в кабинет и мастерские господина Мале.

Я привык к строгому порядку, которого отец требовал от своих служащих как в Гандюмасе, так и на улице Валуа; увидев три тускло освещенные комнаты, потрепанные зеленые папки и шестидесятилетнего архитектора, я понял, что знакомый моей тети был прав, когда отозвался о господине Мале как об архитекторе без заказчиков. Отец Одилии оказался легкомысленным балагуром; он встретил меня радушно, но, пожалуй, чересчур игриво, заговорил о Флоренции и об Одилии взволнованно и задушевно, потом стал показывать мне проекты вилл, которые он *надеется* построить в Биаррице.

– Мне очень хотелось бы построить большую современную гостиницу в баскском духе. Я разработал проект для Анде[14], но заказа мне не дали.

Слушая его, я с тоской и страхом представлял себе, какое впечатление он произведет на моих родных.

Госпожа Мале пригласила меня на другой день к обеду. Я приехал в восемь часов и застал Одилию одну с братьями. Архитектор сидел у себя в мастерской и читал; госпожи Мале еще не было дома. Мальчики – Жан и Марсель – были похожи на Одилию, и все-таки я сразу же понял, что мы никогда не сойдемся. Они старались держаться со мной дружески, по-братски, но в течение вечера я несколько раз перехватывал их взгляды и гримаски, которые ясно гово-

[14] *Анде* – курорт на юге Франции, около Байонны.

рили: «Ну и скучный же малый!» Госпожа Мале вернулась только в половине девятого и даже не извинилась. Заслышав ее шаги, господин Мале появился в самом благодушном настроении, с книгой в руке; когда стали садиться за стол, горничная ввела в столовую молодого человека, американца, приятеля детей; его не ждали и поэтому встретили громкими радостными возгласами. Среди этой суматохи Одилия хранила свойственный ей вид снисходительной богини; она сидела рядом со мною, улыбалась на шутки братьев, а когда заметила, что я несколько смущен, постаралась угомонить их. Она была все так же прекрасна, как и во Флоренции, но, хоть я и не мог бы объяснить этого чувства, мне было больно видеть ее в кругу этого семейства. За раскатистым триумфальным маршем моей любви мне слышался приглушенный мотив Марсена.

Мои родители нанесли господам Мале визит, во время которого родители Одилии бурно изливали свои чувства, между тем как мои хранили вежливо-порицающий вид. К счастью, отец был очень чуток к женской красоте, хоть никогда и не говорил об этом (и тут я заметил свое сходство с ним); поэтому Одилия сразу же покорила его. Выходя, он мне сказал:

– Не думаю, что ты поступаешь разумно… Но понимаю тебя.

Мама сказала:

– Конечно, она прелестна. Она очень своеобразна. Она говорит странные вещи; ей придется измениться.

В глазах Одилии важнее, чем встреча наших родителей, была моя встреча с ее любимой подругой Мари-Терезой, которую она называла «Миза». Помню, я очень смущался; я чувствовал, что мнение Миза имеет для Одилии большое значение; впрочем, она мне понравилась. Она не была так хороша собою, как Одилия, но отличалась правильностью черт и изяществом. Рядом с Одилией она казалась несколько простоватой, но вместе их лица создавали приятный контраст. Вскоре я привык объединять их в один общий образ и считать Миза как бы сестрой Одилии. Но у Одилии во всем сказывалась прирожденная утонченность, и этим она отличалась от Миза, хотя они по происхождению и принадлежали к одной и той же среде. В концертах, куда я перед свадьбой приглашал их каждое воскресенье, я замечал, насколько Одилия слушает лучше, чем Миза. Одилия, закрыв глаза, вся проникалась музыкой, замирала в блаженстве и забывала весь мир. А Миза с любопытством озиралась по сторонам, искала знакомых, то и дело заглядывала в программу и раздражала меня своей суетней. Но она была приятной спутницей – всегда веселой, всегда довольной, и, вдобавок, я был ей признателен за то, что, по словам Одилии, она отозвалась обо мне как об «очаровательном» человеке.

Свадебное путешествие мы совершили в Англию и Шотландию. Не могу представить себе времени более счастливого, чем эти два месяца одиночества вдвоем. Мы останавливались в маленьких гостиницах, среди цветов, на берегах рек и озер, и проводили дни, растянувшись в плоских свежевыкрашенных лодках, на подушках из светлого кретона. Одилия дарила мне эту страну, с лужайками, усеянными гиацинтами, с тюльпанами, взметнувшимися над высокой травой, с подстриженным мягким газоном и с ивами, которые склоняли к воде свои ветви, подобно женщине, распустившей пышные волосы. Я узнавал новую, неведомую Одилию, еще более прекрасную, чем во Флоренции. Смотреть на нее, следить за каждым ее движением – о, это было упоительно! Едва войдя в обычный номер гостиницы, она сразу же преображала его в произведение искусства. Она хранила простодушную, трогательную привязанность к вещицам, которые ей были дороги в детстве; она и теперь всюду возила их с собою: настенные часики, кружевную подушку и сочинения Шекспира в сером замшевом переплете. Позже, когда наш брак расстроился, она ушла от меня все с той же кружевной подушкой и Шекспиром в руках. Одилия реяла над жизнью и казалась скорее духом, чем женщиной. Мне хотелось бы нарисовать ее Вам скользящею по берегу Темзы или Кэма; она шла так легко, что это скорее напоминало танец.

Когда мы вернулись в Париж, город показался нам нелепым. Наши родители воображали, будто у нас единственное желание – почаще видеться с ними. Тетя Кора задумала устраивать обеды в нашу честь. Друзья Одилии жаловались, что целых два месяца были лишены ее общества, и умоляли меня хоть ненадолго уступать ее им; но нам с Одилией хотелось только одного – жить по-прежнему уединенно. Как только мы водворились в нашем домике, где еще не были постланы ковры и пахло свежей краской, Одилия в порыве ребяческой шалости подошла к двери и перерезала провод звонка. Так она отгородила нас от всех посетителей.

Мы обошли вдвоем всю квартиру, и она спросила, можно ли ей оставить себе комнатку рядом с ее спальней.

– Это станет моим убежищем… Вы будете входить туда только по моему приглашению; как вам известно, Дикки, у меня неискоренимая потребность в независимости. (Она стала звать меня Дикки после того, как в Англии какая-то девушка назвала так при ней своего спутника.) Вы еще меня не знаете, вот увидите – я чудовище.

Она принесла шампанское, пирожные и букет крупных астр. Низенького столика, двух кресел и хрустальной вазы оказалось для нее достаточным, чтобы на скорую руку создать уютный уголок. Мы ужинали в самом веселом, самом задушевном настроении. Мы были одни и любили друг друга. Как ни быстротечны оказались те мгновения, мне не забыть их; их отголосок еще отдается в моей душе, и достаточно мне заглушить шум настоящего и прислушаться, чтобы уловить их чистый, замирающий отзвук…

VI

Мне приходится, однако, отметить тут первый удар, который уже на другой день после этого ужина оставил легкую царапину на прозрачном хрустале моей любви. Эпизод сам по себе ничтожнейший, но он явился прообразом всего последующего. Случилось это у обойщика; мы заказывали мебель. Одилия выбрала шторы, которые показались мне чересчур дорогими. Мы немного – и вполне дружелюбно – поспорили, потом Одилия уступила. Продавец, красивый молодой человек, горячо поддерживал мою жену, чем очень раздражал меня. Когда мы уходили, я перехватил в зеркале взгляд, которым они обменялись: он выражал сожаление и вместе с тем говорил о полном взаимопонимании. Не могу описать Вам, что я почувствовал. Со времени помолвки во мне укоренилась бессознательная, нелепая уверенность, что отныне ум моей жены неразрывно связан с моим и что, в силу беспрестанного восприятия моих мыслей, она всегда будет думать, как я. Я не допускал даже предположения, что человек, живущий возле меня, может оставаться самостоятельным. Еще более непостижимой казалась мысль, что этот человек может с кем-то объединиться против меня. Взгляд, которым они обменялись, был еле уловим и вполне невинен; я ничего не мог бы возразить, я даже не был вполне уверен в том, что действительно заметил его, и все же именно в это мгновение я впервые узнал, что такое ревность.

До женитьбы я никогда не думал о ревности иначе как о чувстве чисто театральном, и она неизменно вызывала у меня глубокое презрение. В моем представлении существовал трагический ревнивец – Отелло и ревнивец смешной – Жорж Данден. Мысль, что в один прекрасный день мне придется играть роль одного из этих персонажей, а то и обоих вместе, показалась бы мне тогда совершенно вздорной. Наскучив возлюбленной, я всегда первый бросал ее. А если она мне и изменяла, то я этого не знал. Помню, как однажды я ответил приятелю, который пожаловался мне, что ревнует: «Не понимаю тебя… Я никак не мог бы любить женщину, если бы она меня не любила…»

Почему я стал ревновать Одилию, как только вновь увидел ее в кругу друзей? Характер у нее был ровный, ласковый, но отчего-то она создавала вокруг себя атмосферу непонятной таинственности. Ни до женитьбы, ни во время свадебного путешествия я этого не замечал,

потому что в те дни уединение и полное слияние наших жизней не оставляли места для какой-либо тайны, а в Париже я сразу почувствовал некую отдаленную, смутную опасность. Мы были очень дружны, очень нежны друг с другом, но я хочу быть с Вами совершенно откровенным и поэтому должен признаться: уже на второй месяц нашей совместной жизни я понял, что реальная Одилия – не та Одилия, которую я люблю. Ту, которую я открывал теперь, я любил не меньше, но совсем иной любовью. Во Флоренции мне казалось, что я наконец встретил Амазонку; я в душе своей создал Одилию мифическую и идеальную. Я ошибся. Одилия не была богиней, созданной из слоновой кости и лунного света; она была женщиной. Как я, как Вы, как весь злополучный людской род, она была многообразна и разнолика. И она тоже, конечно, понимала, что теперь я сильно отличаюсь от того влюбленного спутника, каким был во Флоренции. По возвращении из поездки мне вновь пришлось серьезно заняться гандюмасской фабрикой и конторой в Париже. Отец был очень занят в сенате и за время моего отсутствия переутомился. Некоторые из наших лучших заказчиков при встрече со мной жаловались на недостаточно внимательное отношение к их требованиям. От дома, который мы сняли на улице Фезандери, до делового квартала было далеко. Я сразу же убедился, что не могу приезжать домой к завтраку. Если добавить к этому, что раз в неделю мне приходилось бывать в Гандюмасе и что эта поездка второпях была чересчур утомительная, чтобы брать туда Одилию, то Вы поймете, что мы с ней сразу же оказались разобщены.

Возвращаясь вечером домой, я бывал счастлив, что сейчас вновь увижу прекрасное лицо жены. Мне нравилась обстановка, которою она окружила себя. Я не привык жить среди красивых вещей, но у меня была, по-видимому, неосознанная потребность в них, и тонкий вкус Одилии приводил меня в восторг. Дом моих родителей в Гандюмасе был загромождён всевозможной мебелью, беспорядочно накопленной тремя-четырьмя поколениями; она заполняла гостиные, обитые зеленовато-синим штофом, с витражами, где под деревьями бродили грубо написанные павлины. Одилия распорядилась выкрасить у нас стены в спокойные, мягкие тона; ей нравились почти пустые комнаты, большие пространства, устланные светлыми коврами. Входя в ее будуар, я испытывал ощущение чего-то прекрасного – и это ощущение бывало столь остро, что меня охватывала смутная тревога. Я заставал Одилию в шезлонге, почти всегда в белом платье; возле нее, на низком столике – том самом, что служил нам для первого ужина, – стояла венецианская ваза с узким горлышком, а в ней – один-единственный цветок или же изящная листва. Одилия любила цветы больше всего, и мало-помалу я тоже полюбил выбирать их для нее. Я научился наблюдать у витрин цветочных магазинов смену времен года; мне доставляло удовольствие замечать, что настает пора хризантем, пора тюльпанов, потому что их яркие или нежные оттенки могли вызвать на устах жены счастливую улыбку. Когда я возвращался из конторы с букетом в белой бумаге, она вставала мне навстречу и у нее вырывался радостный возглас: «Дикки! Как я благодарна!» Она в восторге любовалась цветами, потом лицо ее становилось серьезным и она говорила: «Сейчас разберу их». И чуть ли не целый час она подбирала вазу, обдумывала освещение, отмеривала длину стебля, чтобы придать ирису или розе наиболее изящный изгиб.

Но нередко вслед за тем вечер проходил необъяснимо печально, – так в солнечные дни над морем вдруг нависают тяжелые темные тучи. Нам нечего было сказать друг другу. Я много раз пытался посвятить Одилию в свои дела; они не интересовали ее. Рассказы о моей молодости теперь уже потеряли для нее прелесть новизны; новых мыслей у меня появлялось мало, потому что мне некогда было читать. Она чувствовала это. Я попробовал вовлечь в нашу жизнь двух моих ближайших друзей. Андре Альф решительно не понравился Одилии; она нашла, что он относится к ней насмешливо, почти враждебно, да так оно и было. Я сказал ему однажды:

– Ты не любишь Одилию.

– По-моему, она восхитительна, – ответил он.

– Да, но не особенно умна?

– Пожалуй… Женщине не обязательно быть умной.

– А вот и ошибаешься: Одилия очень умна, но у нее ум не твоего типа. У нее ум интуитивный, конкретный.

– Весьма возможно, – отозвался он.

С Бертраном дело обстояло иначе. Он попытался завязать с Одилией дружеские отношения, искал ее доверия, но с ее стороны встретил настороженный отпор. Мы с ним любили просиживать целые вечера вдвоем, покуривая, обсуждая мировые вопросы. А Одилия предпочитала театры, ночные кабаре, ярмарочные гулянья. Как-то вечером она часа три водила меня по цирковым манежам, балаганам, лотереям и тирам. Мы взяли с собою ее братьев; избалованные, веселые и чуть шалые мальчишки, да и сама Одилия, забавлялись от души. Около двенадцати я сказал:

– Одилия, неужели вам, в конце концов, не надоело? Согласитесь, это все-таки нелепо. Неужели вам в самом деле доставляет удовольствие бросать обручи на бутылки, ездить на игрушечных автомобилях и выиграть стеклянную лодочку, после того как вы раз сорок промахнетесь?

Она мне ответила словами философа, книгу которого я однажды посоветовал ей прочитать: «Не все ли равно, что радость ложная; лишь бы верить, что она – истинная…» – и, взяв брата под руку, она бегом понеслась к другому тиру; она была хорошим стрелком; выбив десять очков из десяти возможных, она вернулась домой в прекрасном настроении.

В начале нашего знакомства мне казалось, что Одилия так же, как и я, не любит свет. Я ошибался. Ей нравились званые обеды, балы; когда она убедилась, что тетя Кора принимает у себя интересное, избранное общество, ей захотелось бывать на улице Монсо каждый вторник. А у меня после свадьбы, наоборот, было одно только желание – проводить время наедине с Одилией; я чувствовал себя спокойно лишь тогда, когда знал, что эта несравненная красота надежно укрыта в узком домашнем кругу; дело доходило до того, что я бывал счастлив, когда Одилии, очень хрупкой и быстро утомлявшейся, приходилось лежать по нескольку дней в постели. Тогда я просиживал целые вечера в кресле возле нее; мы заводили долгие разговоры, которые она называла «канителью», или же я читал ей вслух. Я быстро понял, какой тип книг может привлечь ее внимание на несколько часов. Вкус у нее был неплохой, а особенно нравились ей книги меланхолического и страстного характера. Она любила «Доминика»[15], романы Тургенева, кое-кого из английских поэтов.

– Как странно, – говорил я. – Когда мало вас знаешь, кажется, что вы легкомысленная, а в сущности, вам нравятся только грустные книги.

– Но ведь я вообще очень мрачная, Дикки. Может быть, поэтому я и легкомысленная. Я не хочу показываться всем такою, какая я есть.

– Даже мне?

– Нет, вам – другое дело… Вспомните Флоренцию…

– Да, во Флоренции я вас знал хорошо… Но теперь, дорогая, вы стали совсем другой.

– Не надо быть всегда одинаковой.

– Теперь вы даже никогда не скажете мне ласкового слова.

– Ласковые слова не говорят по заказу. Будьте терпеливы. Все придет.

– Как во Флоренции?

– Конечно, Дикки. Ведь я все та же…

Она протягивала мне руку, я брал ее, и вновь продолжалась «канитель» – о моих и ее родителях, о Миза, о платье, которое она собирается шить, и просто так, о жизни. В такие вечера, томная и нежная, она действительно была похожа на созданную мною мифическую

---

[15] *«Доминик»* – психологический роман французского художника, писателя и историка искусства Эжена Фромантена (1863).

Одилию. Милая, слабая – она вся находилась в моей власти. Я был ей признателен за это изнеможение. Но едва только к ней возвращались силы и она начинала выезжать, предо мною вновь возникала Одилия загадочная.

Никогда она не рассказывала мне сразу же о том, чем занималась в мое отсутствие, как это делают многие болтливые, бесхитростные женщины. Если я спрашивал, она отвечала кратко, почти всегда невразумительно. Из ее слов мне никогда не удавалось более или менее ясно представить себе последовательность событий. Помню, что позже одна из ее приятельниц сказала мне с той жестокостью, с какой женщины относятся друг к другу: «Одилия страдала манией обманывать и лгать». Это неправда. В первую минуту такой отзыв просто возмутил меня, но позже, поразмыслив, я понял, что именно в характере Одилии могло дать повод для такого отзыва… Небрежность в изложении фактов… Презрение к точности… Когда меня поражала какая-нибудь неправдоподобная фраза, я начинал ее расспрашивать, но вскоре замечал, что она замыкается в себе, как ребенок, которому неопытный учитель задает непосильные вопросы.

Однажды мне, против обыкновения, удалось приехать домой к завтраку; в два часа Одилия попросила горничную подать ей шляпу и пальто. Я спросил:

– Куда вы собираетесь?

– У меня зубной врач.

– Но, дорогая, я слышал, как вы говорили с ним по телефону; вам к трем часам. А что вы будете делать до этого?

– Ничего, я хочу идти не спеша.

– Но, дитя мое, это же вздор; врач живет на авеню Малахова. До него десять минут ходьбы, а у вас впереди целый час. Куда вы идете?

Она ответила: «Вы меня смешите» – и ушла. Вечером, после обеда, я не удержался и спросил:

– Ну так что же вы делали от двух до трех?

Она попробовала отшутиться, а когда я вздумал настаивать, ушла в свою комнату и легла спать, не попрощавшись. Этого у нас еще никогда не бывало. Я вошел к ней и попросил прощения. Она обняла меня. Перед уходом, убедившись, что она успокоилась, я сказал:

– Ну, теперь будьте паинькой и скажите, что вы делали от двух до трех?

Она расхохоталась. А ночью мне послышался шорох; я зажег свет, вошел к ней и увидел, что она тихо плачет. Почему она плакала? От стыда или с досады? Я стал расспрашивать, и она сказала:

– Вы поступаете неправильно. Я вас очень люблю. Но будьте осторожны: я очень гордая… Если такие сцены будут повторяться, я могу расстаться с вами, хоть вас и люблю… Пусть я не права, но надо принимать меня такою, какая я есть.

– Дорогая, я буду стараться, – ответил я, – но и вы, со своей стороны, постарайтесь немного измениться; вы говорите, что вы гордая; а разве нельзя иногда чуть-чуть поступиться гордостью?

Она упрямо покачала головой:

– Нет, измениться я не могу. Вы всегда говорите, что любите меня главным образом за непосредственность. Если бы я изменилась, я бы перестала быть непосредственной. Измениться должны вы.

– Дорогая, мне никогда не удастся измениться до такой степени, чтобы понимать то, чего я не понимаю. Отец всегда учил меня прежде всего уважать факты, уважать точность… Это стало формой моего ума. Нет, никогда я не буду в состоянии сказать положа руку на сердце, что мне понятно, что вы делали сегодня между двумя и тремя.

– Ну, этого с меня достаточно, – резко ответила она.

И, повернувшись к стене, она притворилась, что спит.

Я думал, что на другой день она встанет в дурном расположении духа, но она, наоборот, поздоровалась со мною очень весело и, по-видимому, уже все забыла. Это было в воскресенье. Она предложила мне поехать в концерт. Исполняли «Страстную пятницу», которую мы оба очень любили. После концерта она попросила зайти куда-нибудь выпить чаю. Нельзя представить себе существа более трогательного, чем Одилия, когда она бывала веселой и упивалась жизнью; все в ней говорило о том, что она рождена для радости, и поэтому казалось преступлением отказать ей в удовольствии.

В то воскресенье она была оживлена, она вся искрилась жизнерадостностью, и, когда я смотрел на нее, мне не верилось, что накануне мы могли поссориться. Но чем лучше узнавал я свою жену, тем более убеждался, что она наделена удивительной способностью забывать все дурное – совсем как ребенок. Черта эта была в корне чужда моему характеру, моему уму, который все отмечал, собирал, регистрировал. В тот день жизнь для Одилии заключалась в чашке чая, во вкусных бутербродах, в свежих сливках. Она улыбалась мне, а я думал: «Больше всего отчуждает людей друг от друга, пожалуй, то, что одни живут преимущественно в прошлом, а другие – только в настоящем мгновении».

Я еще чувствовал горечь ссоры, но долго сердиться на Одилию я не мог; я упрекал себя, давал самому себе обещания; я зарекался не задавать бесполезных вопросов, клялся быть доверчивым. Мы возвратились домой пешком, через Тюильри и Елисейские Поля; Одилия с восторгом вдыхала свежий осенний воздух. Мне казалось, что, как и весной во Флоренции, всё – рыжая листва деревьев, золотисто-серый свет, веселая парижская суета, детские кораблики, паруса которых клонились над гладью большого бассейна, и колеблющийся водомет над ними, – всё в один голос поет мотив Рыцаря. Я повторял про себя любимую фразу из «Подражания»[16], которую стал применять к своим отношениям с Одилией: «Вот я перед Тобою, как раб Твой, и я готов на все, потому что ничего не желаю для себя, а все только для Тебя». Когда мне удавалось одерживать такую победу над собственной гордыней и смиряться – не перед Одилией, а, точнее, перед моей любовью к Одилии, – я бывал доволен самим собою.

VII

Больше, чем с кем-либо, Одилия была близка с Миза. Они звонили друг другу по телефону каждое утро, иногда разговаривали больше часа, а днем выезжали вместе. Я поощрял их дружбу – она занимала Одилию, пока я бывал в конторе. Мне даже доставляло удовольствие видеть по воскресеньям Миза у нас в доме; не раз, уезжая куда-нибудь с Одилией на два-три дня, именно я предлагал взять с собою ее подругу. Попытаюсь объяснить Вам чувства, которые руководили мною, потому что в дальнейшем это поможет Вам понять странную роль, которую Миза сыграла в моей жизни. Прежде всего надо сказать, что если я все еще стремился, как в первые недели, быть наедине с Одилией, то теперь это объяснялось не столько радостью неустанно видеть ее, сколько смутным страхом перед тем, что могут принести с собою новые люди. Я любил ее не меньше, но знал, что общение между нами всегда будет ограниченно и что всякий действительно серьезный, задушевный разговор встретит с ее стороны всего лишь снисходительно-благожелательное отношение. Правда, в виде реванша я все чаще ограничивался болтовней – чуть шаловливой, чуть печальной, легкомысленной и неизменно любезной, той «канителью», к какой всегда сводились разговоры Одилии, когда она бывала сама собою. А Одилия никогда не бывала так естественна, как в присутствии Миза. Когда они разговаривали друг с другом, у обеих обнаруживался ребяческий характер ума, который очень забавлял меня и в то же время трогал, потому что давал мне представление о том, какою была Одилия

[16] *«Подражание»* – точнее: «Подражание Христу», духовное сочинение, приписываемое Фоме Кемпийскому (1379–1471).

в детстве. Однажды вечером, в Дьеппе, в гостинице, они стали ссориться, как дети, и Одилия в конце концов швырнула в Миза подушкой, крикнув:

– Гадкая девчонка!

Было во мне и другое, тревожное чувство, которое неизбежно появляется в тех случаях, когда молодая женщина становится – в силу внешних обстоятельств, а не любви – повседневной участницей жизни мужчины. Благодаря нашим поездкам, благодаря фамильярности Одилии – а это поощряло и мою фамильярность – отношения мои с Миза были почти столь же непринужденны, как отношения с любовницей. Однажды, когда зашел разговор о физической силе женщин, Миза предложила мне побороться. Схватка продолжалась какое-нибудь мгновение; я повалил ее и встал, несколько смущенный.

– Вы как маленькие! – заметила Одилия.

Миза долго лежала, пристально смотря на меня.

Она была единственным человеком, которого мы с Одилией оба принимали с удовольствием. Альф и Бертран у нас теперь почти не бывали, и я не особенно жалел об этом. Я очень быстро стал относиться к ним так же, как Одилия. Слушая ее разговоры с ними, я как-то странно раздваивался. Смотря на нее их глазами, я считал, что она рассуждает о серьезных вопросах недопустимо легкомысленно. А в то же время я предпочитал ее легкомыслие теориям моих друзей. Таким образом, я стыдился жены перед ними и гордился ею в глубине души. Когда они уходили, я думал, что Одилия, несмотря ни на что, выше их в силу своей более непосредственной связи с жизнью, с природой.

Одилия не любила мою семью, а я не особенно любил ее родственников. Мама вздумала давать Одилии советы насчет выбора мебели, образа жизни, обязанностей молодой жены. Одилия терпеть не могла никаких советов. Она говорила о Марсена тоном, который крайне шокировал меня. В Гандюмасе мне бывало скучно, я считал, что у нас все радости жизни приносятся в жертву семейным условностям, священное происхождение которых отнюдь не доказано; но в то же время я гордился строгостью наших традиций. Жизнь в Париже, где Марсена решительно ничего собою не представляли, должна была бы излечить меня от мании приписывать им особую значительность. Но подобно тому как маленькие религиозные общины, переселясь в дикарские страны, хоть и убеждаются в том, что миллионы людей поклоняются другим божествам, все же остаются непоколебимы в своей вере, так и мы, Марсена, оказавшись в среде светских язычников, свято хранили память о Лимузене и о своем величии.

Даже мой отец, восхищавшийся Одилией, не мог не сердиться на нее. Он этого не показывал, – тут сказывалась и доброта его, и сдержанность; но я знал, насколько он деликатен, – я сам унаследовал эту черту, – и я отлично понимал, как должен был огорчать его тон Одилии. Если у моей жены бывал какой-нибудь повод сомневаться или негодовать, она выражала свое чувство резко и тут же забывала об этом. А нас, Марсена, учили иначе обращаться и разговаривать с людьми. Однажды Одилия мне сказала: «Ваша мама приезжала к нам в мое отсутствие и позволила себе сделать замечание лакею; я ей сейчас позвоню и скажу, что не выношу этого…»

Я стал умолять ее не торопиться.

– Послушайте, Одилия. В сущности, вы правы; но не говорите ей это сами, вы ее только рассердите. Предоставьте это мне, а если хотите (и это будет даже лучше), попросите тетю Кора сказать маме, что вы ей сказали, что…

Одилия рассмеялась.

– Вы даже не отдаете себе отчета в том, какая смешная ваша семья, – сказала она. – Но это не только смешно, это ужасно… Да, Дикки, ужасно, потому что как-никак я немного люблю вас, когда вижу все эти карикатуры… ведь ваши родные – не что иное, как карикатуры на вас… Я знаю, вы не такой по природе, а все-таки на вас лежит их отпечаток.

Первое лето, проведенное нами вместе в Гандюмасе, прошло довольно сложно. У нас завтракали ровно в двенадцать, и мне даже в голову никогда не приходило, что можно опоздать и заставить отца дожидаться. А Одилия уходила с книгой на лужайку или отправлялась на берег ручья и забывала о времени. Я видел, как отец шагает взад и вперед по библиотеке. Я бегом бросался на поиски жены, возвращался, запыхавшись, так и не найдя ее, а она появлялась невозмутимая, улыбающаяся, довольная, что погрелась на солнышке. Когда же мы садились за стол молча, чтобы выразить ей осуждение (поскольку оно исходило от Марсена, оно могло быть лишь косвенным и безмолвным), тогда она начинала поглядывать на нас с улыбкой, в которой я улавливал и насмешку, и вызов.

В семье Мале, где мы обедали раз в неделю, положение менялось: там изучали и судили меня. У них трапезы не были торжественной церемонией, братья Одилии вставали из-за стола и сами отправлялись за хлебом, господин Мале начинал говорить о какой-нибудь прочитанной фразе, не мог ее в точности припомнить и тоже выходил, чтобы заглянуть в книгу. Беседа отличалась крайней вольностью; мне очень не нравилось, что господин Мале касается в присутствии дочери скользких тем. Я отлично понимал, что глупо придавать значение таким мелочам; но у меня это не было плодом рассуждений, просто на меня это производило тягостное впечатление. У Мале я чувствовал себя неуютно; там климат был не по мне. Я не нравился самому себе, казался напыщенным, нудным и, осуждая себя за молчаливость, становился еще молчаливее.

Как в Гандюмасе, так и у Мале эти неприятные ощущения все же бывали поверхностны, ибо у меня по-прежнему оставалось неоценимое счастье – быть подле Одилии, постоянно видеть ее. За обедом, сидя напротив жены, я не мог не любоваться ею; от ее облика исходило какое-то лучезарное белое сияние; она напоминала мне прекрасный бриллиант в лучах лунного света. В то время она одевалась почти всегда в белое, а дома окружала себя белыми цветами. Это очень шло ей. Как чудесно сочетались в ней простодушие и тайна! Мне казалось, будто я живу возле ребенка, но иной раз, когда она разговаривала с кем-нибудь из мужчин, я ловил в ее взгляде отсвет чувств, неведомых мне, и как бы отдаленный рокот безудержных страстей.

VIII

Я попытался донести до Вашего слуха вступление, первую экспозицию тем – еще заглушаемых другими, более громкими инструментами, – тем, на основе которых возникала незавершенная симфония, какою оказалась моя жизнь. Вы видели Рыцаря, Циника, а в нелепой истории с обойщиком (которую я не утаил, чтобы быть вполне откровенным) Вы, вероятно, уловили первый, далекий зов Ревности. Будьте же теперь снисходительны и постарайтесь не судить, а понять. Чтобы продолжать эту историю, мне придется делать над собой мучительные усилия, но я все же хочу быть точным. Хочу тем более, что считаю себя исцеленным и что буду стараться говорить о своем безумии так же объективно, как врач говорит о припадках галлюцинаций, которыми он сам страдал.

Есть болезни, начинающиеся медленно, с легких, повторяющихся недомоганий; другие вспыхивают за один вечер и выражаются в приступе сильнейшей лихорадки. У меня ревность возникла как внезапный, грозный недуг. Когда я теперь, успокоившись, пытаюсь доискаться ее причин, они мне представляются весьма разнообразными. Прежде всего была глубокая любовь и естественное желание сохранить для себя, вплоть до мельчайших частиц, ту драгоценную субстанцию, какую представляли собою жизнь Одилии, ее слова, ее улыбки, ее взгляды. Но это желание не было самым существенным, ибо, когда я имел возможность владеть Одилией безраздельно (например, когда мы оставались одни, вечером, у себя дома, или когда я увозил ее с собою на два-три дня), она жаловалась, что я не столько занят ею, сколько книгами или своими мыслями. Желание располагать ею безраздельно охватывало меня только тогда, когда она

могла принадлежать другим, – в этом сказывалась прежде всего гордыня, подспудная гордыня, замаскированная скромностью и сдержанностью и свойственная семье моего отца. Я хотел царить над умом Одилии, подобно тому как в долине реки Лу я царил над водами, лесами, над своей фабрикой с ее длинными агрегатами, по которым текло белое бумажное тесто, над крестьянскими домиками и коттеджами рабочих. Я хотел знать, что творится в этой головке, под этими локонами, – подобно тому как я всегда знал из подробных отчетов, которые мне присылали из Лимузена, сколько кило ватмана остается в наличности и какова была суточная выработка за истекшую неделю.

Боль, которую причиняет мне воспоминание об этом, подтверждает, что именно здесь, в этом остром интеллектуальном интересе, и находился очаг недуга. Я не допускал мысли, что можно не понимать близкого человека. Между тем понимать Одилию было невозможно, и я думаю, что ни один мужчина, любя ее, не мог бы жить возле нее, не страдая. Я даже убежден, что будь она другою – я так и не узнал бы никогда, что такое ревность (ибо человек не рождается ревнивцем, он только наделен восприимчивостью, в силу которой может заразиться этой болезнью); но Одилия, невольно, самой своей натурой, беспрестанно возбуждала во мне подозрительность. События, встречи каждого дня представляли собою для меня, как и для всех моих родственников, вполне определенную картину, и достаточно было точно их описать, чтобы все фразы, все элементы рассказа слились в единое целое, не оставив места для каких-либо сомнений; пройдя же сквозь сознание Одилии, все это становилось каким-то сумбурным, туманным наброском.

Мне не хочется, чтобы у Вас создалось впечатление будто она умышленно искажала правду. Все было гораздо сложнее. Дело в том, что для нее слова, фразы не имели особого значения; она была прекрасна как существо, являющееся нам в мечтах, – в мечтах она и проводила жизнь. Я уже говорил Вам, что она всегда жила данной минутой. Она придумывала прошлое и будущее в тот миг, когда они были ей нужны, и тут же забывала вымысел. Если бы она хотела обмануть, она старалась бы согласовать свои выдумки, придать им хотя бы видимость истины, а я никогда не замечал, чтобы она заботилась об этом. Она противоречила себе в одной и той же фразе. Однажды, вернувшись из поездки на фабрику, я спросил:

– Как вы провели воскресенье?

– Воскресенье? Забыла! Ах да, я очень устала и весь день пробыла в постели.

Пять минут спустя, когда разговор зашел о музыке, она вдруг воскликнула:

– Да! Забыла вам сказать: в воскресенье я была на концерте, слушала «Вальс» Равеля, о котором вы мне говорили. Мне очень понравилось…

– Однако, Одилия, вы отдаете себе отчет в том, что говорите? Это какой-то бред… Неужели вы не знаете, где были в воскресенье: на концерте или в постели?.. Не думаете же вы, что я могу поверить одновременно и тому и другому.

– А я вас и не прошу верить. Когда я утомлена, я говорю бог весть что… Я сама не слушаю, что говорю.

– Ну, теперь-то вспомните поточнее: как вы провели прошлое воскресенье? Лежали вы или были на концерте?

В таких случаях она на миг смущалась, потом говорила:

– Право, не помню; когда вы расспрашиваете меня таким инквизиторским тоном, я совсем теряю голову.

Такие разговоры были для меня крайне тягостны; я терзался, мучился, не мог уснуть и часами пытался по отрывочным, вырвавшимся у нее словам восстановить картину того, как она в действительности провела время. Я мысленно перебирал тех ее знакомых, к которым относился подозрительно, так как знал, что она дружила с ними в пору девичества. А сама Одилия забывала подобные сцены так же легко, как и все другое. Оставив ее утром хмурой,

замкнутой, я вечером заставал ее веселой. Я возвращался, готовясь сказать: «Знаете, дорогая, так больше нельзя; нам нужно подумать о том, не расстаться ли нам. Я не хочу этого, но так продолжаться не может; вам надо сделать над собою усилие, надо вести себя иначе». Одилия встречала меня совсем другая, в новом платье, и говорила, обнимая: «Знаете, звонила Миза, у нее три билета в „Эвр“, и мы идем на „Кукольный дом“», – а я из любви к ней и по слабости смиренно принимал эту неправдоподобную, но утешительную выдумку.

Я был слишком горд, чтобы показать, что страдаю. И особенно хотел я во что бы то ни стало скрыть это от моих родителей. В первый год нашего брака только двое, как мне казалось, догадывались о том, что происходит: прежде всего моя кузина Ренэ, и это тем более удивляло меня, что мы видались с нею очень редко. Она вела независимый образ жизни, и долгое время это возмущало всю нашу семью не меньше, чем моя женитьба. Во время пребывания дяди Пьера в Вителе, куда он каждый год ездил лечиться, Ренэ познакомилась с доктором Прюдомом и его женой и очень привязалась к ним. Ренэ всегда была девушкой несколько строптивой и с юности критически относилась к образу жизни семьи Марсена. Она стала ездить к своим новым друзьям в Париж и гостила у них все дольше и дольше. Доктор Прюдом, человек самостоятельный, практикой не занимался, а посвятил себя изучению рака; жена работала вместе с ним. Ренэ не могла ужиться с отцом именно потому, что была слишком на него похожа; от него она унаследовала также и исключительную требовательность к себе во всякой работе. Она быстро нашла себе место в кругу ученых и врачей, куда ее ввели друзья. Как только ей исполнился двадцать один год, она попросила отца выдать ей ее приданое и позволить поселиться в Париже. Несколько месяцев она была в ссоре с нашей семьей. Но Марсена слишком дорожили видимостью нерасторжимой любви, которая должна соединять родителей и детей, чтобы долго мириться с разрывом кровных уз. Когда дядя Пьер убедился, что решение дочери бесповоротно, он капитулировал ради восстановления мира. Время от времени его еще обуревали вспышки гнева, но они становились все менее и менее продолжительны; он умолял дочь выйти замуж; она отказывалась; она грозила, что никогда больше ноги ее не будет в Шардейле; обезоруженные дядя и тетя давали обещание впредь не заговаривать на эту тему.

Ренэ присутствовала при моей помолвке и прислала в тот день Одилии великолепную корзину белой сирени. Помню, это меня удивило: ее родители уже сделали нам хороший подарок; зачем еще цветы? Несколько месяцев спустя мы встретились с Ренэ за обедом у дяди Пьера, и я пригласил ее к нам. Она была очень мила с Одилией, и я с интересом слушал ее рассказы о путешествиях. С тех пор как я перестал видеться с большинством моих старых друзей, мне не приходилось слышать столь серьезной и содержательной беседы. Когда она собралась уезжать, я проводил ее до двери. «Как прелестна твоя жена!» – сказала она мне с искренним восхищением. Потом посмотрела на меня с грустью и спросила: «Ты счастлив?» – таким тоном, что я понял, как сильно она в этом сомневается.

Другой женщиной, на мгновение приподнявшей передо мной завесу, была Миза. Вскоре после нашей свадьбы она стала вести себя довольно странно. Мне казалось, что теперь она гораздо больше стремится подружиться со мной, чем поддерживать дружбу с Одилией. Как-то вечером, когда Одилии нездоровилось и она лежала в постели, Миза пришла ее навестить (у Одилии одна за другой были две неудачные беременности, и теперь стало очевидным, что у нее, к сожалению, уже не может быть детей). Мы с Миза расположились на диване около кровати. Мы сидели очень близко друг от друга и были настолько скрыты от Одилии высокой спинкой кровати, что она могла видеть только наши головы. Вдруг Миза пододвинулась, прижалась ко мне и взяла меня за руку. Я был настолько ошеломлен, что до сих пор не понимаю, как Одилия ничего не заметила по выражению моего лица. Я, хоть и с сожалением, отстранился, а вечером, провожая Миза домой, в каком-то невольном, внезапном порыве слегка поцеловал ее. Она не противилась. Я сказал:

– Нехорошо! Бедняжка Одилия…

– Ну! Одилия! – отозвалась она, пожав плечами.

Это мне не понравилось, и после того вечера я стал с нею очень холоден: вместе с тем я был встревожен, ибо думал: не следует ли это «Ну! Одилия!» понимать так: «Одилия не заслуживает того, чтобы считались с ней».

IX

Два месяца спустя Миза вышла замуж. Одилия сказала мне, что не понимает выбора Миза. Молодой человек – Жюльен Годе – показался моей жене весьма посредственным. Он был инженер, только что окончил институт, и у него, по выражению господина Мале, «еще не было положения». Миза, видимо, не столько любила его, сколько старалась любить. А он, наоборот, был влюблен без памяти. В то время отец подыскивал директора для отделения бумажной фабрики, которое он открыл в Гишарди, около Гандюмаса. Когда он услышал о замужестве Миза, ему пришла в голову мысль пригласить на эту должность мужа нашей приятельницы. Мне это не особенно нравилось; я уже не доверял Миза, но Одилия, любившая оказывать услуги и доставлять удовольствие, поблагодарила отца и тут же передала предложение.

– А вы подумали о том, что собираетесь отправить Миза в провинцию и что сами лишитесь ее в Париже? – сказал я.

– Да, конечно; но я делаю это ради нее, а не ради себя; к тому же я буду видеться с нею во время противных поездок в Гандюмас, и это станет для меня большой радостью. А если ей вздумается пожить в Париже, она всегда может остановиться у своих родителей или у нас… И ведь нужно же молодому человеку чем-то заняться, а если мы его не наймем, они уедут куда-нибудь в Гренобль или Кастельнодари.

Миза и ее муж сразу же приняли предложение, и Одилия сама, среди зимы, отправилась в Гандюмас, чтобы подыскать для них дом и познакомить их с местными жителями. Самоотверженная забота о друзьях была одной из характерных черт Одилии, которую я еще недостаточно отметил.

Мне кажется, что на нашей семейной жизни отъезд Миза сказался пагубно, ибо непосредственным его следствием явилось сближение Одилии с группой знакомых, которая была мне очень не по душе. До замужества Одилия часто выезжала одна с молодыми людьми: они приглашали ее в театр; она совершала поездки с братьями и с их товарищами. Она откровенно рассказала мне об этом, когда мы были помолвлены, и добавила, что не может отказаться от старых знакомств. В то время я жаждал ее больше всего на свете; я искренне ответил, что считаю это вполне естественным и никогда не стану препятствием между нею и ее друзьями.

Как несправедливо и нелепо возлагать на людей ответственность за обещания, которые они дают! Давая Одилии такой зарок, я отнюдь не представлял себе, что я почувствую, когда увижу, что она встречает другого тем самым взглядом, той самой улыбкой, которые так мне дороги. Вы, пожалуй, удивитесь, если я скажу, что меня огорчало также и сознание, что друзья Одилии в большинстве своем люди довольно посредственные. Это сознание должно было бы меня успокаивать, а мне, наоборот, оно было оскорбительно. Когда любишь жену так, как я любил свою, все связанное с ее образом оказывается наделенным мнимыми достоинствами и добродетелями, и подобно тому как город, где ты встретился с нею, кажется красивее, чем он есть в действительности, и ресторан, где ты обедал с нею, вдруг становится лучше всех остальных, так и на сопернике, как бы он ни был ненавистен, отражается это сияние. Если бы таинственный композитор, оркеструющий нашу жизнь, выделил из всего произведения тему Соперника и мы услышали бы ее отдельно, то оказалось бы, думается мне, что тема эта почти полностью совпадает с темой Рыцаря, но в ироническом и искаженном плане; нам хотелось бы встретить в сопернике противника, достойного нас, и таким образом, из всех разочарований, которые может причинить нам женщина, разочарование в сопернике оказывается самым

горьким. Я ревновал бы, но не удивлялся бы, видя возле Одилии выдающихся людей нашего времени; между тем я замечал, что она окружена молодыми людьми, которые, если судить беспристрастно, может быть, и не хуже других, но отнюдь не заслуживают ее, да к тому же и не ею выбраны.

– Одилия, зачем так кокетничать? – сказал я ей однажды. – Еще понятно, когда некрасивой женщине хочется испытать свои силы. Но вы… В этой игре вы выиграете наверняка; значит, дорогая, с вашей стороны это жестоко неблагородно… А главное, выбираете вы так странно… Например, вы постоянно видитесь с этим Жаном Бернье… А что в нем интересного? Он безобразный, грубый…

– Он меня забавляет.

– Как может он забавлять? Вы человек тонкий, с хорошим вкусом. А его шуточки всегда отдают казармой; я ни за что не решился бы сказать при вас что-нибудь подобное.

– Вы, конечно, правы; он некрасив, быть может, даже вульгарен (хотя я этого и не думаю), но мне он нравится.

– Но не влюблены же вы в него, надеюсь?

– Вот уж нет! С ума сошли! Я не потерпела бы его прикосновения, он мне напоминает слизняка…

– Дорогая, пусть вы не влюблены в него, зато он в вас влюблен. Я это отлично вижу. Вы причиняете страдания двоим – ему и мне. К чему это?

– Вы воображаете, что все в меня влюблены… Я уж не так хороша…

Она говорила это с такой прелестной кокетливой улыбкой, что и я не мог не улыбнуться. Я поцеловал ее:

– Итак, дорогая, вы будете встречаться с ним пореже?

Она нахмурилась:

– Я этого не говорила.

– Не говорили, но я вас прошу… Неужели вам так трудно? А меня вы очень порадуете. Притом вы сами говорите, что он вам совершенно безразличен…

Она казалась озадаченной, задумалась на минуту, потом ответила, смущенно улыбаясь:

– Не знаю, Дикки, я, кажется, не могу иначе… Меня это забавляет.

Бедная Одилия! Она произнесла эту фразу с таким ребячливым, с таким искренним видом! Тогда я стал с присущей мне неумолимой и безуспешной логикой доказывать, что поступать «иначе» совсем не трудно…

– Вы не правы в том, что принимаете себя такою, какая вы есть, как будто мы при рождении получаем готовые характеры, – сказал я. – А ведь свой характер человек может совершенствовать, изменить…

– Вот и измените свой.

– Я готов попытаться. Но помогите мне в этом и тоже постарайтесь.

– Нет, нет, я уже вам не раз говорила, что не могу. Да и нет желания.

Когда я размышляю о тех, теперь уже далеких днях, у меня возникает вопрос: не определялось ли ее поведение каким-то глубоким инстинктом? Если бы она изменилась, как я того просил, продолжал бы я ее все так же любить? Стал бы я терпеть возле себя постоянное присутствие этого маленького существа, не будь сцен, которые не давали нам обоим соскучиться? К тому же неправда, что она никогда не старалась измениться. Одилия не была злая. Когда она замечала, что я огорчен, ей казалось, что она готова на все, лишь бы помочь мне, но гордость и слабоволие оказывались сильнее доброты, и поведение ее оставалось прежним.

Постепенно я научился улавливать в ней то, что я называл ее «победным видом», – в таких случаях ее обычная веселость поднималась на полтона выше, глаза блестели ярче, лицо становилось еще прекраснее, а свойственная ей томность исчезала. Когда кто-нибудь нравился ей, я узнавал об этом раньше, чем она сама. Это было ужасно… Иной раз мне припоминалась

фраза, сказанная ею во Флоренции: «Я была чересчур ласкова, и, женившись на мне, вы, пожалуй, будете опасаться, что я окажусь легкомысленной…»

Я до сих пор часто размышляю над тем горестным временем, и больше всего меня удручает мысль, что, несмотря на свое кокетство, Одилия была мне верна и что, будь я тактичнее, мне, быть может, удалось бы сохранить ее любовь. Но нелегко было понять, как надо вести себя с Одилией; ласковое обращение докучало ей и сразу вызывало враждебную реакцию; угрозы могли толкнуть ее на самые крайние поступки.

Одной из основных черт ее характера была любовь к опасности. Ей особенно нравилось кататься на яхте при ураганном ветре, править гоночным автомобилем в трудном пробеге, брать верхом высокие барьеры. Вокруг нее вертелась целая ватага отчаянных молодцов. Но ни одному из них, видимо, она не отдавала предпочтения, и всякий раз, когда мне доводилось слышать их разговоры, я убеждался, что Одилия говорит с ними просто как с товарищами по спорту. Впрочем, теперь в моих руках (я Вам объясню, как это случилось) множество писем, присланных Одилии этими юношами; все письма говорят о том, что она допускала любовную болтовню, но всегда отвергала близость.

«Странная Вы, Одилия! – писал один из них. – В одно и то же время такая сумасбродная и такая целомудренная! Даже слишком целомудренная, на мой взгляд». А другой, чувствительный и набожный юный англичанин, утешался по-своему: «Так как не подлежит сомнению, дорогая Одилия, что в этом мире Вы никогда не будете моею, я надеюсь быть около Вас в мире ином». Но я рассказываю Вам сейчас то, что сам узнал значительно позднее, а тогда мне не верилось, что можно вести столь независимый образ жизни и оставаться безгрешной.

Чтобы быть вполне справедливым по отношению к ней, я должен добавить еще одну черту, которую упустил из виду. В первое время нашей совместной жизни она старалась приобщить меня к своим старым и новым дружеским связям; она охотно поделилась бы со мною всеми своими друзьями. Того англичанина, о котором я говорил, мы встретили в первые наши каникулы, летом, в Биаррице. В виде развлечения он учил Одилию играть на банджо – тогда еще мало известном инструменте; он пел ей негритянские песни. Перед отъездом он во что бы то ни стало захотел подарить ей свое банджо, и меня это страшно злило. Две недели спустя она мне сказала:

– Дикки, я получила письмо от маленького Дугласа, оно по-английски; прочтите его, пожалуйста, и помогите мне написать ответ.

Не знаю, что за дьявол меня попутал, но я с еле сдерживаемой яростью возразил, что надеюсь, что она ни в коем случае отвечать не будет, что Дуглас – идиот и что и без того он достаточно мне надоел… Все это не соответствовало истине: Дуглас был отлично воспитан, очарователен и до женитьбы очень бы мне понравился. Но у меня уже входило в привычку, слушая жену, доискиваться: что она хочет скрыть? Всякий раз, когда в ее словах что-то казалось мне неясным, я строил замысловатую теорию, чтобы уяснить себе, для чего именно нужна Одилии эта неясность. Была какая-то мучительная радость, упоительная мука в мысли о том, что я разгадал ее ложь. Память у меня, в общем, довольно слабая, но как только дело касалось Одилии, она оказывалась превосходной. Я запоминал малейшие ее фразы; я сравнивал одну с другою, взвешивал их. Мне случалось говорить ей: «Как? Вы ездили на примерку костюма? Значит, это уже четвертая примерка? Вы мерили его на прошлой неделе во вторник, в четверг и в субботу». Она смотрела на меня, улыбалась без малейшего смущения и говорила: «У вас дьявольская память…» Я одновременно чувствовал и стыд от сознания, что меня разыгрывают, и гордость, оттого что раскрыл ее хитрость. Впрочем, мои разоблачения ни к чему не вели; я никогда не переходил к действиям, не хотел действовать, и загадочная безмятежность Одилии никогда не давала повода к сценам. Я был в одно и то же время и несчастлив, и не в силах что-либо изменить.

Принять крутое решение и, скажем, запретить Одилии видеться с некоторыми друзьями мешало мне сознание, что мои отчаянные выводы неизменно приводят меня к самым нелепым промахам. Помню, например, что в течение нескольких недель Одилия жаловалась на головные боли, на усталость и говорила, что ей хотелось бы провести несколько дней в деревне. Сам я не мог в то время уехать из Парижа; я долго не отпускал ее. Заметьте, что я отнюдь не сознавал того, сколь эгоистично с моей стороны не верить ее недомоганию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.